

Василиса Шливар
Белградский университет
Филологический факультет
vasilisa.sljivar@yahoo.com

Vasilisa Šljivar
University of Belgrade
Faculty of Philology
vasilisa.sljivar@yahoo.com

КАТЕГОРИЯ МОЛЧАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КАЗАКОВА

THE CATEGORY OF SILENCE IN VLADIMIR KAZAKOV'S WORKS

Целью статьи является попытка рассмотреть одну из ключевых тем в прозаическом творчестве В. В. Казакова — тему молчания. Молчание трактуется сквозь призму исихастской практики православного аскетизма, трансцендентальной редукции Гуссерля и Друскина, самоотречения Кьеркегора. Выявляется бессилие языка, как один из возможных истоков данной темы, но одновременно указывается на амбивалентность молчания — оно свидетельствует не только о невыразимости, но и об освобождении языка. Данное освобождение осуществляется за счет восприятия языка не в его привычных, коммуникативной и миметической функциях, но в духе Хайдеггера — как активное начало, отражающее бессознательное и тем самым творящее новый мир — мнимый хаосмос Казакова. Делается вывод, что звездный язык Казакова зиждется на слове-молчании, погружением в которое автор старается постичь собственную сущность, себя-мир, Логос.

Ключевые слова: В. В. Казаков, проза, молчание, язык, исихазм, трансцендентальная редукция, рыцарь веры.

The purpose of the article is to try to address one of the key themes in the prose of V. V. Kazakov — the theme of silence. Silence is interpreted through the prism of the hesychastic practice of Orthodox asceticism, the transcendental reduction of Husserl and Druskin, and Kierkegaard's self-denial. The powerlessness of language is identified as one of the possible origins of this topic, but at the same time the ambivalence of silence is indicated — it testifies not only to the inexpressibility but also to the liberation of the language. This liberation is carried out due to the perception of language that is not in its accustomed, communicative and mimetic function, but in the spirit of Heidegger — an active principle reflecting the unconscious and thereby creating a new world — Kazakov's imaginary chaosmos. The conclusion is made that the stellar language of Kazakov is based on the word-

silence, by immersion in which the author tries to comprehend his own essence, himself-world, Logos.

Keywords: V. V. Kazakov, prose, silence, language, hesychasm, transcendental reduction, knight of faith.

Эксперимент Казакова, зиждущийся на переходе от языковой сукцессивности к языковой симультанности является отражением ухода от речи к мысли, так как лишь в мысли возможно параллельное существование множества миров. Возврат от речи к мысли, то есть к слову-Логосу, поскольку «возвращение к мысли от конструкций сознания, от перебора лексики оказывается одновременно возвращением к слову. Незнакомому, глубины которого мы еще не знаем» (Бибихин 2010: 33) предстает по сути паломническим путем возврата крупным шагом вспять к началу, в бессознательное, к себе-миру. Иными словами, путь к достижению целостности видится Казакову в замене слова-речи словом-молчанием. Именно поэтому одной из стержневых тем творчества данного автора выступает тема молчания.

Уже в первой книге *Мои встречи с Владимиром Казаковым* (1970), в третьей прозаической миниатюре описывается несостоявшаяся встреча жениха и невесты, восходящая к романтическим сюжетам, а также к блоковским мистическим опытам явления Прекрасной Дамы: невеста никак не может увидеть, услышать жениха, поскольку они принадлежат к двум разным мирам, к двум разным обликам существования. Молчание одного персонажа, сопровождаемое напрасным говорением другого, выступает как знаменатель отчужденности призрачных героев, невозможности прикоснуться друг к другу, соединить миры¹. Это не единственный пример, вспомним хотя бы миниатюру «Гость» из той же книги, отчасти отсылающую к пушкинскому сюжету о каменном госте, или же встречу Николая и гостыи в «Пеших числах», Истленьева из *Ошибки живых*, для которого молчание предстает своего рода способом существования, и т. п.

- «Тотчас после нескольких голосов молчания наступил рев тишины» (Казаков 1972: 43).
- «Расстояние от нее до стены было заперто на тяжелый замок молчания» (Казаков 1972: 59).
- «Первое попавшееся молчание — вот что мы предлагаем друг другу» (Казаков 1982: 10).
- «1-й голос: Первый раз вижу человека, столь преданного своему молчанию» (Казаков 1982: 15).
- «Они взглянули туда, где эти слова сливались с молчанием» (Казаков 1982: 74).
- «4-Й ГОСТЬ В небе незаживающие раны от крыш... Молчание длилось. Наконец, ночь не выдержала» (Казаков 1995: 186).

¹ Наглядное изображение параллельных миров усматриваем, например, и в киноленте В. Вендерса «Небо над Берлином» (1987).

- «Она посмотрела на него молчанием, расширенным от ужаса» (Казаков 1995: 166).
- «поцелуй весь состоит из молчания и самого себя» (Казаков 2012: 45).
- «сколько и молчания в ответ на все и даже не в ответ. вот, например: душа, а за ней — другая. даже мосты ржавее. столько сомнений вслух, что даже не знаешь, чем же отличается молчание от ничего» (Казаков 2012: 51).

«Необыкновенное молчание»² прозы предстает фоном, на котором все в хаосмосе Казакова сбывается, а также безусловно главной характеристикой персонажей и, следовательно, самого автора. Оно как прозрачная пелена, как «ледяная пустыня» (Казаков 2003: 58) отделяет персонажей друг от друга, автора от мира, и наоборот, соединяет. Молчание явно вещает о непреодолимом одиночестве, или скорее об уединении, порожденном обращением внутрь, к мысли, погружением в себя ради своеобразного приобщения к тайне о себе, в чем прочитывается родство с исихастским безмолвием. Связь с духовной практикой православного аскетизма, имеющей целью преображение и обожение через непрерывную безмолвную молитву и внутреннее созерцание в неподвижности тела — «претворение человеческой природы, достигаемое в полноте мистического Богообщения» (*Новая философская энциклопедия* 2001) — подтверждается не только в характеристике отдельных персонажей, вечно безмолвных и неподвижных, но и в прямом обращении Казакова к текстам исихастов — свв. Григория Паламы и Исаака Сирианина. «Поелику Бог есть сама благодать, само милосердие и бездна благоволения, то кто вступит в единение с Ним, всяко сподобляется милосердия Его. Соединяются же с Ним стяжанием богоподобных добродетелей, сколь сие возможно, и богообщительною молитвою и молением. (Св. преп. Григорий Палама)» (Казаков 2003: 154), читаем вдруг в романе *В честь времени* (1973). Через экскурсы — цитаты из Святых Отцов³, вставленные в прозу невпопад, по принципу взрыва, Казаков преломляет свои размышления о наболевшем, в частности, об искушении унынием на пути к упокоению, о необходимости уединения, о соединении

² «— Урбан говорил мне, что у тебя какое-то необыкновенное молчание.

— Наверное, не у меня, а у прозы.

— Нет, он говорил, что у тебя.

— А он сам слышал его?

— Он не слышал его...» (Казаков 2003: 184–185).

³ Помимо выписок из названных исихастов, Казаков включает также письма отца Кирилла, своего духовника («Табано», «Большая орда», *От головы до звезд*), выписки из Священного писания (о Саваофе, послание Коринфянам в романе *В честь времени*), из речей аввы Пимена (*В честь времени*), аввы Исаака Отшельника («Большая орда»), Палладия Мниха («Неоконченная поэма»), Кирилла Александрийского («Неоконченная поэма»), св. Варсонофия Великого (*От головы до звезд*), киевского чудотворца Алимпия (*Мои встречи с Владимиром Казаковым*), экскурс о старце в Скиту («Неоконченная поэма»), о любви к Богу и страдальческих слезах (*От головы до звезд*). Все экскурсии в той или иной степени посвящены вопросу подвижничества, страдания от искушений и терпению ради их преодоления.

с Богом в молитве, об отказе от страстей и чувств в стремлении спасти душу, который не иное, как отказ от себя:

«— Что означает отвергнуться себя?

— Как приготовившийся взойти на крест, одну мысль о смерти имеет в уме своем, и восходит на крест, как человек не помышляющий, что снова будет иметь часть в жизни настоящего века, так и желающий исполнить сказанное: “да отвержется себя и возмет крест”. Ибо крест есть воля, готовая на всякую скорбь и смерть. Кто в этом вооружении выступит на подвиг, в очах того делается достойным пренебрежения все, почитаемое трудным и скорбным» (Казаков 2003: 160).

Трактовка молчания в исихастском ключе в качестве своеобразного «“очищения сердца” слезами и через сосредоточение сознания в себе самом» (*Философский энциклопедический словарь* 1983: 221), «очищения <...> как от чувственных впечатлений, так и от рассудочной деятельности» (*Новейший философский словарь* 1999) ради приближения к собственной сущности, перекликается с рассматриванием данной темы сквозь призму трансцендентальной редукции Э. Гуссерля, предполагающей отрицание эмпирического пласта мира или, говоря словами Я. Друскина, «разрыв поверхности жизни», «проникновение вглубь»: «Чтобы найти эйдос, то есть сущность индивидуального явления, надо, говорил он (Гуссерль), во-первых, заключить в скобки и выключить весь эмпирический мир, включая себя, эмпирического, тогда останется трансцендентальное *ego*, то есть я, или абсолютная субъективность — это он назвал “трансцендентальной редукцией” или выключением “естественной установки”, естественного взгляда на мир» (Друскин 1994).

Такое отрицание совершается посредством воздержания от суждения, которое, согласно Я. Друскину, не что иное, как погружение в бесконечное суждение, преодолевающее роковую свободу выбора через ноуменальные отношения, преподнесенные в форме молчания: «Бесконечное суждение это то, что я называю неопределенным отрицанием: контрадикторное отрицание, понимаемое не только логически, но и онтологически. Это отрицание не одного из двух противоположаемых членов в свободе выбора, но самого противоположения, а тем самым и свободы выбора» (Друскин 1994).

Казаков прозаическим творчеством как раз восходит к рассуждениям чинаря неустанным преодолением противоположных полюсов в своем пороговом хаосмосе. Полное отрицание антиномий совершается по сути не в гегелевском ключе синтеза, а через крупный шаг в бессознательное, снимающее любые преграды, в ничто, «без исходной открытости которого», как учит М. Хайдеггер в лекции «Что такое метафизика?», «нет никакой свободы и самости»: «Человеческое присутствие означает: выдвинутость в Ничто. Выдвинутое в Ничто, наше присутствие в любой момент всегда заранее уже выступило за пределы сущего в целом. Это выступление за пределы сущего мы называем трансцендентией. Не будь наше присутствие в основании своего существа трансцендирующим, т. е., как мы

можем теперь уже сказать, не будь оно заранее всегда уже выдвинуто в Ничто, оно не могло бы встать в отношение к сущему, а значит, и к самому себе» (Хайдеггер 1993: 22).

Казаковский языковой эксперимент — это трансцендентальный акт соединения, осуществляемый в словесном творчестве посредством ухода от предметности в сторону смыслов, на которых зиждется абсолютное Я, т. е. самость. Этот уход подразумевает также уход от себя — редукцию себя, находящую у Казакова отражение в молчании, как наглядном изображении воздержания от суждения.

Восприятие молчания Казакова в ключе гуссерлевского и друскинского *epoche*⁴ не произвольно, а опирается на прочтение М. Мейлахом (1993: 42–43) молчания в поэтике А. Введенского. Казаков, видимо, верно следует за поэтом-обэриутом, видя в нем учителя, чему находим свидетельство в его же словах, процитированных в предисловии Бертрама Мюллера к книге *Случайный воин*: «А. Введенский чувствовал себя Иоанном Предтечей в литературе. <...> Действительно, Введенский в своих работах иногда почти вплотную подходил к моей прозе. И я действительно считаю его своим предтечей» (Казаков 1978: 12). У А. Введенского, согласно справедливому толкованию М. Мейлаха, молчание, как знаменатель трансцендентальной редукции, в итоге выливается в молитву, чем чинарь авторитет бессмыслицы вторит размышлениям Я. Друскина, видящего единственное освобождение в религиозном пути — в смирении, покаянии и молитве. Казаков, в свою очередь, от молчания не уходит, хотя на страницах прозы неоднократно пытается обратиться к молитве, чтобы достичь спокойствия в лоне веры. Однако путь спасения Казакова скорее «проза, кусок, бесформенный, как смиряющая рубашка» (Казаков 1982: 176). Но смирение это лишь временное и насильственное.

Итак, на мучительном пути самопознания, исполненном сомнения, страха, Казаков отвергает эмпирический мир, чтобы приобщиться к вечности. Он отвергает все, чтобы все приобрести. В этом смелом абсурдистском акте прочитывается не только упрямство Сизифа, но и рыцарство кьеркегоровского Авраама, именно силой абсурда побеждающего абсурд; чистой верой устранивающего парадокс бытия. Размывая все границы, релятивизируя ключевые категории познания, Казаков жертвует самим собой, чтобы в высшем духовном акте полного самоустранения приобрести целостность, постичь самость, совершая по сути кьеркегоровское «бесконечное движение самоотречения», соединяющее в каком-то смысле исихастское безмолвное созерцание и гуссерлевскую трансцендентальную редукцию. Эта жертва заключается во все повторяющемся повреждении «незаживающего рая» в движениях, предельваемых во «вселенском одиночестве»,

⁴ «Трансцендентная редукция совершается по Гуссерлю через *Epoché*. У меня тоже есть этот термин, независимо от Гуссерля, только по-русски: воздержание от суждения. Ничего удивительного в этом совпадении нет: так как он и я заимствовали этот термин у Пиррона через Секста Эмпирика» (Друскин 1994).

в напряженном состоянии постоянного искушения, на пути к следующему, конечному шагу — «движению веры», о чем С. Кьеркегор пишет в трактате *Страх и трепет*⁵. Самоотречение — акт героический, а следующее за ним движение веры вообще стоит в ряду чудесного, необъяснимого и мало кому доступного. Оттуда погружение в слово-молчание, в язык молчания — непонятный, трансцендентальный, язык божественный:

«Авраам молчит, но он не может говорить, в этом и состоят нужда и страх. Ибо когда я, даже говоря, не могу сделать себя понятным, значит, я не говорю, пусть даже я беспрерывно продолжаю говорить дни и ночи напролет. Это как раз случай Авраама. Он может сказать что угодно, однако одного он сказать не может, и даже если б он мог это сказать, не может сказать так, чтобы другой его понял; а потому он и не говорит. <...> Он не может говорить, он не говорит ни на одном человеческом языке. И если бы он даже понимал все языки земли, если бы даже любимые его поняли, он все же не может говорить: он говорит на божественном языке, он “говорит на неизвестном языке”» (Кьеркегор 1993: 103–104).

Паломничество в себя, подразумевающее самоустранение, совершается Казаковым именно посредством слова-молчания, в «авраамовском» божественном языке, который есть место человека-мира. Это слова не каменные, оцепеневшие, а наоборот, неустанно оживающие в лоне многоуровневого эксперимента, результирующего в бессмыслице, освобождающего язык. Становясь посредством разнородных трансформаций безвременным, трансцендентальным, освобожденный магический язык все глубже окунается в молчание Логоса, овладевает теургической функцией и, черпая чистый творческий потенциал в непроницаемых сферах бессознательного, творит мнимый мир Казакова, или скорее, в витгенштейнском ключе, расширяет границы уже существующего.

В эти рассуждения уходит корнями идея о бессилии языка — звездную тайну собственного существования, постигаемую в самопознании, невозможно выразить привычными языковыми средствами: «Вдыхаю звезды, выдыхаю молчание» (Казаков 2003: 222). В этом смысле погружение в молчание можно трактовать последствием ограниченности языка, его неспособности выразить мысль: «что сказать, если слово не хочет?» (Казаков 2003: 260). Выдвигая тему невыразимости, Казаков восходит к русской поэтической традиции, в первую очередь, романтической — к В. Жуковскому, а также к Ф. Тютчеву, О. Мандельштаму, вплоть до футуристских и обэриутских словесных экспериментов XX века. «Что наш язык земной пред дивною природой?», задается «казаковским» вопросом В. Жуковский

⁵ «Бесконечное самоотречение — это последняя стадия, непосредственно предшествующая вере, так что ни один из тех, кто не осуществил этого движения, не имеет веры: ибо лишь в бесконечном самоотречении я становлюсь ясным для самого себя в моей вечной значимости, и лишь тогда может идти речь о том, чтобы постичь наличное существование силой веры» (Кьеркегор 1993: 46). И на другом месте: «Я осуществляю это движение через себя самого, и я обретаю при этом как раз себя самого в своем вечном движении, в блаженном согласии с моей любовью к вечной сущности» (Там же: 48).

полтора века раньше Казакова, в строке, открывающей стихотворение «Невыразимое» (1819). Описывая попытку и столь большое желание «прекрасное в полете удержать», «ненареченному названье дать», лирический персонаж понимает, что «обессиленно безмолвствует искусство» и заканчивает заветными словами: «И лишь молчание понятно говорит» (Жуковский 2000: 129–130). Десятилетие спустя, в стихотворении «Silentium!» Ф. И. Тютчев учит подобному: «молчи, скрывайся и таи», поскольку «мысль изреченная есть ложь». И далее, в заключительных строках: «Лишь жить в себе самом умей — / Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум / <...> / Внимай их пенью и молчи» (Тютчев 2002: 123), прочитываем существовавшее начало, на котором основывается сугубо имманентный хаосмос Казакова, поскольку «о чем ни скажешь, о чем ни назовешь, вещь сама себе обманчива и странна» (Казаков 2003: 268).

Отказ от языка принимает свой крайний облик в графическом представлении молчания в виде рядов точек, чаще всего следующих за неожиданным обрывом предложения или слова. Встречаются также целые реплики, написанные данным способом. Автор этим видимо материализует паузу, наделяя ее значительной семантической нагрузкой, то есть преподнося в качестве очередной ипостаси молчания:

«Темные густые секунды, длинные волосы, бледность, подчеркнутая чертой. Это облик гости, которая спросила:

Вы Н.?

Он ответил:

Да. Но я ни за что бы не вспомнил об этом, если бы не ваш вопрос.

.....?

.....» (Казаков 1982: 7).

«Он произнес:

Простите.

В те времена странным казалось каждое слово.

? (вопрошающий знак)

.....

.....

Эти строки — мне странно видеть, как воздух омывает их, словно не узнавая себя» (Казаков 2003: 163).

Однако идея о бессилии языка порождена его привычным восприятием — лишь в узких границах коммуникативной и миметической функций. Казаков в духе Хайдеггера «дает слово языку»⁶, т. е. уходит за пределы такого предназначения языка, и чтобы с сущим (Логосом) слиться, отражает в языке бессознательное, заодно воссоздавая, перестраивая мир, поскольку

⁶ «То, что существа языка мы знать не можем — в традиционном, исходящем из познания как представления понимании знания — есть, конечно, вовсе не недостаток, но преимущество, благодаря которому мы приняты в некую исключительную область, в ту, где мы, требующиеся для того, чтобы дать слово языку, обитаем в качестве смертных» (Хайдеггер 1993: 272).

именно в языке, в его освобождении, заключающемся в уходе от обыденного понимания миметической функции языка в сторону его восприятия в качестве сугубо активного начала, ломаются решетки рационального мировоззрения, творятся новые миры. Другими словами, внутренняя революция совершается в слове ради слова. Недаром Казаков пишет: «— О чем все это? /— О словах» (Казаков 2003: 170), раскрывая суть данной реплики на другом месте: «Я ни о чем. Меня интересует лишь та строка, скрывающаяся за небесами. Да еще несколько земных вещей» (Казаков 2003: 152). В том, что «за небесами» скрывается именно «строка», прочитываем подтверждение идеи о словесной природе тайны-Логоса и ее достижении лишь посредством языка. А если исходить из понимания приобщения к тайне как достижения полноты существования, тогда становится понятным, почему в призрачном хаосмосе Казакова существование приписывается лишь языку, словам: «Строки — вот что существует» (Казаков 2003: 179).

Исходя из этих размышлений молчание можно воспринимать не только как отказ от языка, но как раз наоборот, как заявление о том, что слово свободно, «с первоосновой жизни слито!» (Мандельштам 2017: 33), как писал О. Мандельштам в стихотворении «Silentium» (1910, 1935). Молчание — это своего рода выявление очищения языка, осуществляемого через погружение в «широкое непонимание» (А. Введенский), в его бессознательные сферы, или, говоря словами Казакова, «перепиливание решеток» (Казаков 1995б: 116). О подобном писал и В. Бибихин: «Это как свобода: она есть, пока ею пользуешься. Никто еще никогда слова до конца не дочерпал — потому что они внутренние формы в своей сути; всегда наша вина, когда слова мелкие, не их самых⁷» (Бибихин 2008: 403).

Сталкиваясь с абсурдистской «тайной тишиной мира»⁸, Казаков главным оружием своего бунта выбирает не слово-речь, а слово-молчание. Его персонажи ведут диалоги, лишённые смысла, однако всегда пронизанные

⁷ Ср. еще с размышлениями В. Бибихина в книге *Слово и событие*: «Мы хотим отгородиться от нищеты стертого слова. И кажется, что нужно заменить это слово как стершуюся монету, или удержать его на нужном месте в сетке значений, а может быть создать собственный язык: это мой язык, и он будет, должен хранить ту высоту и красоту, которую хочу хранить я. Почему это никогда не удастся, почему персональные или групповые языки с тщательно охраняемым словарем не держатся задуманной высоты и строгости, снижаются до худосочности, которая оказывается еще хуже, чем истертость обыденного словаря. История литературы движется по неширокой дорожке между кладбищами искусственно выращенных языков и стилей. Они стареют иногда быстрее чем люди, их создавшие. Почему не удастся отгородить свой язык от павшего общего? Может быть потому что нищета стершегося слова не зря так задевает нас, потому что это не чужая нищета, и не нищета слова, а наша нищета. Нищета в нас, если мы слышим слово нищим» (Бибихин 2010: 214).

⁸ «Но мир — вовсе не манящая пестрота и не дразнящие ощущения. И раздерганность ощущениями — это пока еще даже и не настроение, это пока еще просто раздражение. Мир — даже не влекущие голоса смыслов и планов. Он согласие. И по-настоящему, всем своим существом человек никогда не говорит и никогда не скажет искреннего “да” никакому голосу из голосов внутри мира. Человек скажет “да”, и уже сказал давно, сам того не заметив, тайной тишине мира и только ей» (Бибихин 2016: 60).

молчанием, которое лишь на звуковом уровне можно считать продолжением тишины, тогда как на самом деле предстает продолжением разговора⁹. Но какой разговор можно вести в молчании? С миром. С собой. Об истине. «Молчание — любимая одежда истины» (Казаков 2003: 170), пишет Казаков в романе «В честь времени». Видимо, сугубо неожиданные языковые провалы в бездну молчания следует понимать, как прислушивание к молчанию мира, как «знак согласия» (Бибихин 2008: 158) с ним, как приобщение к тайне слияния с первоосновой через очередное исчезновение, на этот раз словесное¹⁰. Подобное понимание молчания прочитываем и в словах В. Бибихина, мыслящего язык, его истоки и развитие. Позволю себе привести этот фрагмент полностью:

«Молчание не только может быть словом, но и единственное безусловное отличие человеческого языка от животных криков в том, что в человеческом языке есть значимое молчание, пауза. Человеческий язык — одно из его определений, необходимых, хотя не достаточных, — есть то, чего могло не быть. Человек мог молчать. Только потому, что он мог молчать, стало возможным слово, иначе бы оно осталось симптомом, как у животных. Речь — текст, в котором основа — молчание, а слово — только уток. Речь как текст без слова невозможна. Но слово возможно и без речи. Слово без речи — это молчание, основа речи. Повторно участвовать в себе могло не обязательно крикливое чувство, вылившееся в звук. Вступить в отношение к себе, стать словом мог и опыт тайны мира, опыт тишины, умолкания задумавшегося человеческого существа среди шума мира. То раннее молчание могло стать первым словом и узнать себя как первое слово. Отношение, несение на себе не каких-то, а любых вещей, мира, — существо человека. Мир открывается ему прежде всего в опыте мира, согласия, знак которого — молчание» (Бибихин 2008: 157–158).

Трактовке молчания, как перехода от речи к мысли, способствует также неустанное ведение мысленных разговоров на страницах казаковской прозы. То, что они мысленные небрежно отмечается в их начале заметкой о том, что последующие реплики персонажи лишь подумали, или же, столь

⁹ Ср. у М. Эпштейна: «Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным молчание о том же самом. Молчание получает свою тему от разговора — уже вычлененной, артикулированной, и молчание становится дальнейшей формой ее разработки, ее внесловесного произнесения. Если бы не было разговора, не было бы и молчания — не о чем было бы молчать. Разговор не просто отрицается или прекращается молчанием — он по-новому продолжается в молчании, он создает возможность молчания, обозначает то, о чем молчат. Молчание следует отличать от тишины — естественного состояния беззвучия в отсутствие разговора. <...> Хотя внешне, акустически молчание тождественно тишине и означает отсутствие звуков, структурно молчание гораздо ближе разговору и делит с ним интенциональную обращенность сознания на что-то» (Эпштейн 2015: 247–249).

¹⁰ Тема исчезновения одна из стержневых в поэтике Казакова. Помимо ведущего к тишине словесного исчезновения в молчании, которое в данном разделе находится в фокусе исследования, усматривается также телесное исчезновение, преподнесенное в прозрачности персонажей, как одной из их главных характеристик, дополнительно подчеркнутой постоянным пребыванием в темноте. Прослеживаемая редукция персонажа, его способов существования, совершаемая на нескольких уровнях, по сути должна свидетельствовать о его приобщении к себе самому.

же небрежным и малозаметным замечанием в конце диалога об его звуковой невоплощенности:

- «простите меня, я хотел подумать совсем другое» (Казаков 2012: 49).
- «Женщина подумала: “Неожиданный день после неожиданной ночи”» (Казаков 1982: 2).
- «Наше молчание можно принять за холод, – первая женщина» (Казаков 1982: 32).
- «Алхимов мысленно сказал какую-то фразу, но вслух произнес только точку, стоящую в конце ее» (Казаков 1995: 114).

Форма мысленных антидиалогов не только способствует восприятию казаковской прозы в качестве продукта автокоммуникации, сбывающейся по швам треснувшего сознания автора-персонажа, заодно представляющей языковой эксперимент возврата к симультанности мысли и, следовательно, приобщения к собственной сущности. Если рассматривать такой вид диалога в более широком контексте, то становится понятным, что он также вписывается в онирическую природу казаковского хаосмоса. Как во сне, крайне динамичные диалоги вслух не произносятся, с трудом и даже почти вообще не запоминаются, наслаиваясь друг на друга без особого порядка, без связи, по сути соединяя собой соседние миры. В сновидении, как и в мыслях, царит бессознательное, а там «все равно всему» (Руднев 2018: 39), там все возможно.

«Можно молчать, можно объясняться ночными звездами, бесшумными прикосновениями их лучей» (Казаков 2003: 126), пишет Казаков. Не только отказ от звукового осуществления делает его абсурдистские диалоги одной из ипостасей молчания. Многоуровневая трансформация языка, совершаемая посредством выработки новых словесных реляций, рождаемых в антидиалоге — это попытка словами выразить невыразимое, постичь бесконечное, то есть мыслить молчание. Именно туда уходит корнями неоднократное отождествление языка со звездой, вещающее о сотворении совершенно уникального казаковского звездного языка, в своей сути основывающегося на размышлениях Председателя земного шара, но разрастающегося в новом направлении: «6-Й ГОЛОС У меня полон рот звезд! Хоть упражняйся в ораторском искусстве!» (Казаков 1995: 175). Д. Токарев в своей книге *Курс на худшее* (2002), посвященной творчеству Д. Хармса и С. Беккета, в одном месте цитирует отрывок из письма С. Беккета 1937 года знакомому Акселю Кауну, в котором практически предвосхищается казаковское восприятие соотношения языка и молчания, то есть функции языка, языкового эксперимента в процессе постижения молчания, понимаемого в качестве первоосновы:

«Будем надеяться, что придет время, а может быть, в неких кругах бытия оно, слава Богу, уже пришло, когда язык будет использоваться наиболее эффективным способом, в то время как до сегодняшнего дня он использовался способом наименее эффективным. Поскольку мы не можем устранить язык за один раз, мы должны, по крайней мере, сделать все, что бы могло

опорочить его. Прodelать в нем дырки, пока то, что скрывается за ним — будь это нечто или ничто, не начнет сочиться, — я не могу себе представить более благородной задачи для современного писателя. <...> Прежде всего, речь может идти лишь о поисках такого метода, который позволил бы выразить издевательское отношение к языку средствами самого языка. Именно в диссонансах между средствами и их использованием, вероятно, можно будет уловить шепот музыки конца и того молчания, которое является основой Всего» (Беккет, цит. по Токарев 2002: 129).

Совершенно своеобразный поэтический язык диалогов Казакова, будь они осуществлены на звуковом уровне или нет, является ипостасью молчания. Призрачные персонажи, оказавшись перед выбором между речью и молчанием, «принадлежащем к первой и последней свободе человека» (Бибихин 2016: 159), несмотря на нескончаемый диалог и как раз вследствие его природы, остаются верными последнему, и тем самым ближе к тишине мира: «4-Й ГОСТЬ О, эти бесконечные слова! О, это бесконечное молчание! Что из двух бесконечнее? Таков удел человека: говорить или молчать» (Казаков 1995: 101), восклицает персонаж Казакова в отчаянии. Сотканные из слов, но лишённые смысла, абсурдистские казаковские диалоги — это «говорящее молчание» (Бибихин 2016: 163), это своеобразная «ткань из молчания и слова» (Бибихин 2016: 159), верно отображающая своеобразный *modus vivendi* тех, к кому принадлежит.

ЛИТЕРАТУРА

- Бибихин Владимир. *Внутренняя форма слова*. Санкт-Петербург: Наука, 2008.
- Бибихин Владимир. *Слово и событие. Писатель и литература*. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, Русский фонд содействия образованию и науке, 2010.
- Бибихин Владимир. *Мир. Язык философии*. Санкт-Петербург: Азбука — Азбука-Аттикус, 2016.
- Друскин Яков. «Я и ты. Ноуменальное отношение». *Вопросы философии* 9 (1994).
- Жуковский Василий. *Полное собрание сочинений и писем*. В 12 т. Т. 2. Москва: Языки русской культуры, 2000.
- Казаков Владимир. *Мои встречи с Владимиром Казаковым*. München: Hanser Verlag, 1972.
- Казаков Владимир. *Случайный воин*. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1978.
- Казаков Владимир. *Жизнь прозы*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1982.
- Казаков Владимир. *От головы до звезд*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1982b.
- Казаков Владимир. *Ошибка живых*. Москва: Гилея, 1995.
- Казаков Владимир. *Драмы*. Москва: Гилея, 1995b.
- Казаков Владимир. *Неизданные произведения*. Москва: Гилея, 2003.
- Кьеркегор Сёрен. *Страх и трепет* / Пер. с дат. Москва: Республика, 1993.
- Мандельштам Осип. *Сохрани мою речь навсегда... Стихотворения. Проза*. Москва: Издательство Э, 2017.
- Мейлах Михаил. «Что такое есть потец?». Введенский Александр. *Полное собрание произведений*. В 2 т. Т. 2. Москва: Гилея, 1993.
- Новая философская энциклопедия*. В 4 т. / Под редакцией В. С. Стёпина. Москва: Мысль, 2001. (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4361/ИСИХАЗМ).
- Новейший философский словарь* (<https://gufo.me/dict/philosophy>).
- Руднев Вадим. *Что ты хочешь этим сказать? Семантические лабиринты языка*. Москва — Санкт-Петербург: Добросвет — Центр гуманитарных инициатив, 2018.
- Токарев Дмитрий. *Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Самюэля Беккета*. Москва: Новое литературное обозрение, 2002.

- Тютчев Федор. *Полное собрание сочинений и писем*. В 6 т. Т. 1. Москва: Издательский центр «Классика», 2002.
- Философский энциклопедический словарь*. Под ред. Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова. Москва: Советская энциклопедия, 1983.
- Хайдеггер Мартин. *Время и бытие. Статьи и выступления*. Москва: Республика, 1993.
- Эпштейн Михаил. *Прония Идеала*. Москва: Новое литературное обозрение, 2015.

REFERENCES

- Bibihin Vladimir. *Vnutrennyaya forma slova*. Sankt-Peterburg.: Nauka, 2008.
- Bibihin Vladimir. *Slovo i sobytie. Pisatel' i literatura*. Moskva: Universitet Dmitriya Pozharskogo, Russkij fond sodejstvija obrazovaniyu i nauke, 2010.
- Bibihin Vladimir. *Mir. Yazyk filosofii*. Sankt-Peterburg: Azbuka — Azbuka-Attikus, 2016.
- Druskin Yakov. «Ya i ty. Noumenal'noe otnoshenie». *Voprosy filosofii* 9 (1994).
- Epshtejn Mihail. *Ironiya Ideala*. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2015.
- Filosofskij enciklopedicheskij slovar'*. Pod. red. L. F. Il'icheva, P. N. Fedoseeva, S. M. Kovaleva, V. G. Panova. Moskva: Sovetskaya enciklopediya, 1983.
- Hajdegger Martin. *Vremya i bytie. Stat'i i vystupleniya*. Moskva: Respublika, 1993.
- Kazakov Vladimir. *Moi vstrechi s Vladimirom Kazakovym*. München: Hanser Verlag, 1972.
- Kazakov Vladimir. *Sluchajnyj voin*. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1978.
- Kazakov Vladimir. *Zhizn' prozy*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1982.
- Kazakov Vladimir. *Ot golovy do zvezd*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1982b.
- Kazakov Vladimir. *Oshibka zhivyh*. Moskva: Gileya, 1995.
- Kazakov Vladimir. *Dramy*. Moskva: Gileya, 1995b.
- Kazakov Vladimir. *Neizdannye proizvedeniya*. Moskva: Gileya, 2003.
- K'erkegor Syoren. *Strah i trepet*. Moskva: Respublika, 1993.
- Mandel'shtam Osip. *Sohrani moyu rech' navsegda... Stihotvoreniya. Proza*. Moskva: Izdatel'stvo E, 2017.
- Mejlah Mihail. «Chto takoe est' potec'». *Vvedenskij Aleksandr. Polnoe sobranie proizvedenij*. V 2 t. T. 2. Moskva: Gileya, 1993.
- Novaya filosofskaya enciklopediya*. V 4 t. / Pod redakciej V. S. Styopina. Moskva: Mysl', 2001. (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4361/%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%97%D0%9C).
- Novejšij filosofskij slovar'* (<https://gufo.me/dict/philosophy>).
- Rudnev Vadim. *Chto ty hochesh' etim skazat'?* *Semanticheskie labirinty yazyka*. Moskva — Sankt-Peterburg.: Dobrosvet — Centr gumanitarnyh iniciativ, 2018.
- Tokarev Dmitrij. *Kurs na hudshee: Absurd kak kategoriya teksta u Daniila Harmsa i Samyuelya Bekketa*. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2002.
- Tyutchev Fedor. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem*. V 6 t. T. 1. Moskva: Izdatel'skij centr «Klassika», 2002.
- Zhukovskij Vasilij. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem*. V 12 t. T. 2. Moskva: Yazyki russkoj kul'tury, 2000.

Василиса Шльвар

КАТЕГОРИЈА ЋУТАЊА У СТВАРАЛАШТВУ ВЛАДИМИРА КАЗАКОВА

Резиме

Овај рад представља покушај да се протумачи једна од кључних тема у прозном делу Владимира Казакова — тема ћутања. Ћутање тумачимо кроз призму исихастичке праксе православног аскетизма, трансценденталне редукције Едмунда Хусерла и Јакова Друскина, самоодрицања Серена Кјеркегора. У раду показујемо немоћ језика као један од могућих

извора дате теме, а истовремено скрећемо пажњу на амбивалентност ћутања, које не сведочи само о неизрецивости него и о ослобађању језика. Ово ослобађање се остварује не кроз перцепцију језика у његовој уобичајеној комуникативној и миметичкој функцији него у духу Хајдегера — као активно начело што одражава несвесно и самим тим ствара нови свет — лажни хаосмос Казакова. На основу анализе долазимо до закључка да се звездани језик Казакова гради на речи-ћутању, у коју понире аутор, трудећи се да допре до сопствене суштине, себе-свет, Логос.

Кључне речи: В. Казаков, проза, ћутање, језик, исихазам, трансцендентална редукција, витез вере.